

Критическая лирика



По созвучию

* * *

Глубока «вода» творческой неизвестности. Материал – изустный, голос – внутренний, самому себе, в темноте... И вот, как-то вдруг, случайно-естественно? звуком... является свет.

«Да будет свет!» – чудесное и непостижное прозрение. «И стал свет» – всего лишь солнце, потянувшее за собой (будет – стал) тень существа по имени Время.

Время первого осознанного действия: «отделил свет от тьмы», первого качества: «свет хорош». Время, как рычаг озаренной реальности: пространства неба с точкой приложения сил – землей.

Не так ли и автор создает стихи, высвечивая отличный от собственного способ бытия?

«И произвела земля зелень» – вроде бы подумаешь, зелень, но это уже не творение из ничего, а – из первоначально созданного. Плоть и кровь, где пик вдохновения приходится на создание «по образу Своему» (что не обязательно по внешнему сходству), на обретение со-творца посредством собственного творения.

* * *

Но переживаемое наслаждение от ощущения удачи неизбежно приводит к отвлечению от образа. Образуется пробел, в который устремляется внешняя сила, скрывающая самое важное и значимое – в подтексте, как потаенное «вдохнул» – «в прахе земном»...

Любование стихами, помещение их на отдельный лист. Эдем и есть такой листок со стихами, нечто благоухающее посреди пустыни одиночества. О детское неведение, в тебе так хороша, так ощутима единственность – родная сестра вечности!

Увы, райская легенда оказалась лишь эпиграфом из инобытия. «Вот, Адам стал как один из нас» – чего здесь больше: боязни потерять собственное "Я" или страха утратить Авторство? Ведь протяни человек вовремя руку... И все-таки удаление героя – не боязнь, не наказание за страх, а вынужденная необходимость. Оставить все как есть – лишено творческого смысла, вернуть все обратно – уничтожить созданное, как часть самого Себя. Выход

существует один – предоставить самому созданию доказывать свое право на жизнь.

Не так ли, грустя и сожалея, выпускается в свет рукопись? И нет отречения, ибо имя автора – на титульном листе.

* * *

Бытие на земле. Сбывающийся замысел, которому наиболее полно отвечают со-творческие интерпретации – книги Священного Писания. Удивительно человеческому понятию «писание» придано определение, прямо указывающее на связь создания со своим Создателем и на ни с чем не сравнимую значимость их взаимоотношений.

Чего, к примеру, стоит одна лишь попытка избавиться разом от всего неудачного, спасая частицу достойного, с последующим сожалением о случившемся! И аналогичные (не водой, так огнем) уничтожения рукописей имели место! И это всегда связано с одним – с несоответствием созданного представлениям самого автора. И что, в самом деле, смерть во времени по сравнению с духовной – в вечности? Не потому ли и самым страшным наказанием со времен первой братоубийственной трагедии было наказание не тюрьмой, а еще большей внешней свободой – «наказание мое больше, нежели снести можно»? В отличие от нынешних убийц Каин глубоко осознавал, что еще большая свобода навсегда лишит его даже надежды на благодать и лишь убийственно ускорит духовную деградацию.

Или башня Вавилона. Запоздалый жест потомков Адама, лишенных славы Создателя. Протягивание жадной руки в надежде ухватиться за вечность. Символ творчества ради славы. И ответ интуиции Автора находится чисто в языковой области. Лишь Ему, Автору Слова, под силу смешать, разделяя, то, что составляет единое целое!

Башен, похожих на эту, не счастье. Однако, самая первая как никакая другая отрицает самоутверждение вопреки истине со-творчества, как бы ни было последнее трудно и несовершенно здесь, на земле.



Отдельные мысли

* * *

Отпечаток детского восприятия пушкинского «и тленья убежит». Какой трусливой представлялась эта Тленья! Давно поменяла она свой род и падеж, но мне все хочется верить, что да, убежит...

* * *

При чтении есенинских строк вновь ощутил сожаление неузнавания. Когда дошел до «Шумит вода за мельницей крылатой» и глянул за... мельничное колесо, а не на... общее место еще с досервантесовских и прочих мельниц, вдруг ясно почувствовал, что крылата не мельница, а вода шумит – «крылато»! На мгновение мир оказался избавлен от тяжести воды.

* * *

Двойственность природы тютчевского образа – будто «тень, бегущая от дыма». Стихотворный порядок слов – за «бегущую от дыма», а смысловое

впечатление скорее – за «тень от дыма». Простая перестановка слов и... жизнь бежит от любви, любовь от жизни – не разобрать. О неуловимая искра сожаления – от света, печали – от любви!

* * *

В вечности Блок не ошибался. Во времени – однажды почувдилось ему за истину стремление «передовых художников» задаваться вопросом «зачем». Ныне слепому ясно, куда сие задавание завело. «Душа красивой бабочки», истолченная в чане советской версификации вместе «с телом полезного верблюда», явила миру не образец «сознания прекрасного долга», но должника, бездарно промотавшего целое состояние духа. Но вновь, в начале циничного века, куда спрячешься от проклятого вопроса?

* * *

Идея русского трехгранного штыка: не направлен ни на чью земную грудь. Не просто победа, но победный мир. Рядом – храм Георгия: Победоносца и Мученика. Однонаправленное единство штыка и храма объясняет если не все, то многое. И, визуально: богиня, простирающая крыла над крестом, выглядит излишне помпезной. Слава не затмит мук, не поможет никакая позолота.

* * *

Когда мука наслаждения своими собственными образами сильнее желания избавиться от мук, является Анненский со своими вакханками-нотами – «И режут сердце мне их узкие следы»...

* * *

От тютчевского «Душа моя – Элизиум теней» до мандельштамовского «К Рембрандту входит в гости Рафаэль. / Он с Моцартом в Москве души не чаёт» – целая лирическая эпоха. Один зрит великие тени в замкнутом пространстве души, тогда как другой уже бесстрашно стирает роковые границы и распахивает для них современный мир. Новое за-душевное завоевание, основанное на ужасающей тоске по воле и миру, лишшающемся каждодневно культуры прошлого.

* * *

Хождение по воде и тому подобное не представляет для совершающего особой ценности. Это – как удивлять аборигенов зажиганием спичек. Скучно и самоунизительно, ибо известна цена коробка. Иное дело – чудеса творчества. При этом человек тычет пальцем в небо, а бог попадает на землю. Проще, казалось бы, первое...

* * *

«Помни это, помни это»... Два поэта повстречались на улице.
— Куда так торопишься?
— Да в лито.
— А что там?

- Да вот, попросили о поэзии рассказать.
- Сам-то хоть знаешь, что это такое?
- Ну... так ведь никто этого не знает.
- Зачем же идешь?
- Ну... так ведь позвали.

* * *

«Устрой лишь так, чтобы тебя отныне / Недолго я еще благодарил»...
Устроено: недолго. Но еще удивительней вольный перевод из Гете – как от бога поэзии, как ответ бога на предыдущую просьбу: «Подожди немного, / Отдохнешь и ты».

* * *

Сила поэзии Тютчева – в уживаемости несочетаемого, слабость – в претерпевании этой уживаемости. Сила в слабости и слабость в силе: «я верю, боже мой, / Приди на помощь моему неверью!» – но разве один призыв о помощи не был бы творческой немощью, а одно «я верю» отказом от творчества в пользу веры?

* * *

«За то, что дикое волненья / Мрачат стекло моих очей»... Дикое сочетание: «стекло очей», но что убедительней может противостоять «диким волненьям», как неподвижность – стихии? И еще этот глагол «мрачат» – как ночной мороз по стеклу, а внутри-то – «пламень» неземной тaitся «со дней младенчества», т. е. изначально. И единственная (неземная) боязнь поэта, что этот дар свыше может исчезнуть. И более безбоязненного в остальном (земном), чем Лермонтов, видимо, не бывало на земле.

* * *

Манерность – родимое пятно искусства. Плохо, когда разрастается до безобразного манерничанья. Иное дело, если привлекает внимание, как милая родинка на щеке. Ведь и самые чистые и правильные строки могут не принадлежать искусству, весьма искренне убивая безжизненностью!

* * *

Страдание выбора в стихотворении Лермонтова «Одиночество»: друзья (пылкие) или вдохновение (тоже пылкое) – выбирай. И печаль самого поэта – не о смерти, а о своем рождении. Это враги злорадствовали по поводу его скорого ухода. Это нам суждено сожалеть о его столь ранней кончине. Но ему самому выпало печалиться о своем появлении на свете. Одиноки все истинные лирики, но кто, когда, был такой «слепец, страданьем вдохновенный», так любил «мучения земли», а выбор делал в пользу неба: «Чего б то ни было земного / Я не соделаюсь рабом»?

* * *

«Не привлекай меня красотой! / Мой дух погас и состарелся»... Почему «дух», а не взгляд, например? Если бы взгляд – печально, однако еще не

трагедийно, тогда как «дух» – трагедия не столько жизни (что жизнь здесь!), сколько после-жизни.

* * *

Кровь Маргариты? Нет, мысль – единственная наследственность, коей следует дорожить. Мысли пробиваются и растут, как злаки, в них есть зерна первоначального знания и, увы, плевелы нашего невежества. «Постелю тебе в саду под чистым небом / И скажу, как называются созвездья»... Так воскресенный Адам мог бы приглашать в свой перво-зданный дом.

* * *

У неба одна лирическая формула: как бог на душу положит. У человека другая – быть со-творцом. Важна не мука дуализма, а путь к единству.

Давний спор

Вопрос о природе лирики (храм или мастерская) давно вроде бы разрешен в пользу храма, вот только методы разрешения явно взяты из мастерской Снежной Королевы и способны обессилить любую Герду алогичного. При этом ещё и считается, что без холодного нажима последняя просто превратится в обыкновенную «датскую» бабу, т. е. Кай стиха не обретет необходимой четкости и прозрачности.

О, последователи Королевы любят упираться на строго заданный объем храма! Вам нужно ощущение большего? Тогда строго следуйте известным приемам и построениям. Например, используйте вертикальные окна возвышенностей, позволяющие свету мысли расширять видимое пространство внутри храма-стиха. Или применяйте определенные сочетания интонационных тонов...

Если следовать только подобным указаниям, то все, не вписывающееся в ледяную логику знания, должно безжалостно отсекается. Королева строга, холодна, безусловна. Вянут живые цветы слов? Не беда, ведь кристаллы застывших смыслов долговечней и совершенней – не надо только на них неровно дышать... Немного холодного света, и они заиграют своими четкими гранями. Теплый комочек чувства навсегда застревает во льдах спокойного сердца, будто зеркальный. И не в него ли глядится ледяная леди лирики:

— Герда, где твой Кай?

И усмехнувшись хрустально: не приставайте, он занят серьезным делом – поисками совершенства!

Два пророка

«С Пушкиным на дружеской ноге...»

О таких, как ты, у нас до сих пор говорят: из молодых да ранний. Можно и по твоему предпочтению из романа в стихах: «И жить торопится, и

чувствовать спешит»... Ну натуральный «Сверчок» – не успел радостно пискнуть, а уже две ссылки позади, 1826 год. Возвращение... но куда? В какую реальность?

Нет ничего печальней поэта «на перепутьи» и с «Пророком» в кармане. Спешка и страх: предъявить – не предъявить в самую критическую минуту? Шепчешь на память и чуешь, как от концовки исходит все та же неопределенность, будто не дописано, будто знаешь, что обходить «моря и земли» – не получится, но тогда как же жечь «сердца людей»? А от листка со стихами исходит ощущение ниспосланной силы, на языке которой отныне надлежит говорить.

И вот – «идут за днями дни» и с ощущением силы нарастает усталость. Все меньше прежней легкости и радости, все более умножения печалей да «однозвучный жизни шум»... «Пророк» есть, а роль его на себя брать не торопишься. Но не берешь свою ношу – вот тебе чужие. Был любовник, станешь муж. Ощутил в изгнании родовые и творческие корни – возьми светскую «мишуру» и бесовское кружение. Восхищался скромностью музыки Баратынского – на славу и собственный «Памятник» в придачу, как придворному поэту. И личного цензора, чтоб не «возносился» выше положенного. У Державина Матушка была? А у тебя – Сам. Батюшка! От добра – добра не ищут. Где уж «моря и земли»... «Пой, птичка, пой!»

Говоришь, роль свою осмысливаешь? Место свое определяешь? В Михайловском-то сидючи, что же не осмыслил? Была бы жизнь, а так – всего лишь отсрочка. Лет в десять.

Эх, переломный, 1826! Через 15 лет другой, еще более из молодых да ранний, не просто своего «Пророка» напишет, скорее, твоего продолжит. И все тобой блестяще продекларированное возьмет на себя, а потому для него и отсрочки не будет. Будет смерть – одного поля ягода с твоей.

Твой продолжатель, хоть и по казенной надобности, а обойдет-таки кое-какие земли, не только провозглашая «чистые ученья», но и наяву прожигая свинцом и клинком «сердца людей». Это твоя ссылка была бездеятельна, зато его – само действие. Наоборот, гибель его была скорее бездеятельна и желанна, чего не скажешь о твоей. Ты запретил мстить за себя, а он не имел самой возможности что-то подобное запретить, ведь с тобой был Данзас, а с ним был Васильчиков – как говорится, почувствуйте разницу.

Ты был в придворной клетке убит иностранцем, а он – на самой окраине империи своим. Твой «кавказский пленник» вернулся домой, а его Мцыри – не вернется никогда. Ты искал гармонию жизни в любви, он же, скорее, любовь считал игрой со смертью. У тебя Онегин – с театральностью, на лице написанной; на лице Печорина была усмешка или скука, но не было грима, не потому ли он так явственно ощущал, что воздух может быть чист, «как поцелуй ребенка»? Наконец, вы оба мечтали о покое и воле, только ты – при жизни, а он – после нее.

Продолжатель твоего «Пророка» чаще предпочитал разговаривать с богом, тогда как ты – то с книгопродавцом, то с толпой, то с чернью, успевая еще краем глаза следить, где там простой народ и как его гоняют от черного крыльца. А другой сам оказывался все ближе и ближе к тому крыльцу. Тебе – придворное камер-юнкерство, ему – пинок из гусарской гвардии. О тебе царь – прилюдно и хорошо, о нем – кулуарно и скверно...

Вот и вышло у нас по пословице, что нет пророка в своем отечестве, ибо ты эту роль на себя так и не принял, а он, приняв, не успел сыграть. Так и живем: бог знает, в каком теперь отечестве, зато с двумя «Пророками» сразу. Правда, творчества вашего толком не разберем, потому как издаем и читаем все подряд, так что после «Редет облаков летучая гряда» запросто,

например, звучит «Как брань тебе не надоела»... И ты лучше не спрашивай, за кого мы принимаем вас теперь. Раньше – за кого только не принимали! За борцов с самодержавием. За безбожников. Чуть за полунищих пролетариев не приняли...

За два предела

* * *

К началу XXI столетия стихотворное пространство общелирической ойкумены оказалось освоенным до двух крайних пределов: душевного микрокосмоса Иннокентия Анненского и «сияющей пустоты» лирического макрокосмоса Георгия Иванова. Всегда интересней заглянуть за край, чем довольствоваться общеизвестным, но для этого необходимо войти в стихотворные пространства, которые с обычной читательской точки зрения рассмотреть бывает затруднительно.

Не оттого ли больше других Анненский любил слово «невозможно», что оно открывало ему некий душевный проход в бесконечность малых лирических величин, куда не вмещается привычное целое, зато есть возможность переносить одухотворение на его детали и фрагменты? Целое – Андромеда, одуванчики, девочка, скрипка или старая шарманка – не умещается, и взгляду не просто тесно, а парадоксальным образом неохватно! Зато видны, как на ладони, и «печальный обломок» руки, и «два желтые обсевочка» одуванчиков, и «струны» скрипки, и «старый вал» шарманки – даже «шипы» на нем... «Дальше... вырваны дальше страницы»... «Отпрыгаются ноженьки, / Весь высыплется смех», а песок-то куда высыплется, стебельки-то, которые – «прочь», где разбросаны – ведь не по кровати, как отпрыгавшиеся ноженьки... От страшной и «лишней красоты» девочкиного «садика из цветов» хочется поскорее вернуться обратно к целому: к Андромеде, пусть даже «с искалеченной белой рукой»; к скрипке, хотя бы и через боль способной ответить «да»; к девочке, пусть спящей или заплаканной – к общей участи и детали, и целого. Вернуться, пережив удивительное очищение состраданием и жалостью из-за невозможности исправить непоправимое.

Именно желание хоть как-то посочувствовать обделенности подталкивает самого автора за страх «красы» и «хаос полусуществований». Человеческую совесть не останавливают ни «отрава глянца», ни «нагие грани бытия». В том последнем своем душевном усилии поэт жаждет, как спящий обмануть самого спящего, «до конца все видеть, цепеная», чтобы воскликнуть: «О, как этот воздух странно нов!» – и, себе тому, допредельному: «Знаешь что... я думал, что больнее / Увидать пустыми тайны слов»... Прозрачней о сквозящей туда пустоте здешнего мира не скажешь. Но доискиваться этой закраины стоило, ибо воздух там «странно нов», потому что возможно дышать и жить. И только память наших печальных мест, побуждающая к состраданию память, одна еще удерживает от невозвращения.

Не потому ли даже смерть физическая была легка своей мгновенностью, что душа поэта, полная до краев земными горестями и утомленная «самым призраком жизни», уже знала, куда идти и где ей будет легче?

* * *

Но вот... прижизненное удаление в стихотворные пространства большой бесконечности другого астронавта лирики – Георгия Иванова. Самые огромные и важные величины здесь – родина и будущее. Они есть, нет их – у самого поэта. Только пустота, в которой на месте будущего – прошлое, т. е. то, чего уже нет; на месте России – отсутствие себя в ней. То же самое «невозможно», лишь с другим, чем у Анненского, знаком. Потому и любимое – «все-таки возможное» прошлое счастье, «Птицей улетевшее в небо изумрудное, / Где переливается вечерняя звезда».

У Анненского – не было, но будет. У Иванова – было, но не будет больше никогда. Душа Анненского вобрала в себя пространство микрокосмоса лирики, душа Иванова сама, как целое, растворилась в лирическом макрокосмосе. «И даже угадать нельзя, / Куда он движется, скользя, / По лунному карнизу», в какое «холодное ничто» глядит. Не за что зацепиться, движение совершается в безвоздушном пространстве, точнее, в духовной опустошенности, «на хрупком льду небытия», т. е. скользя без скольжения, как в реальном космосе, где до настоящего тепла – миллионы световых лет. «Ну и потерю душу, / Ну и не увижу свет»... Вот предел, за которым целое становится разодохотворенной частицей бытия.

А пространство все искривляется. Любить значит уже не сострадать, а страдать. Любить «за ритмическую скуку» – дождик, за «упойтельную холодность» – женщину, за безнаказанность смеха – «вечернюю звезду», даже розу – за то, что будет выброшена в помойное ведро... Не сострадая красоте, а «Сливая счастье и страданье / В неясной прелести земной», т. е. видимой издалека. Так и движется: вместо крыльев, подобных ласточкиным, – «полы пальто». Старого, зимнего, неодушевленного... что под ним? Пальто, которое «Закатом слева залито, / А справа тонет в звездах», т. е. летит на север, т. е. вперед, т. е. к прошлому.

В таком полете и опыт Анненского не поможет: «полфунта судака» или «полы пальто» – детали, что навечно остаются деталями. А вот уже и нечто за краем: «То, чего мы не узнаем, / То, чего не надо знать»... Но там, за пределом здешнего знания, все иначе, и поэт может быть счастлив, «Ничего, как жизнь, не зная, / Ничего, как смерть, не помня». Иными словами – и зная, и помня как-то совсем иначе, в инобытии.

Где-то там, в этом и-но, сходятся оба края, вообще все пределы и края, Иванов и Анненский... А глазами служит сама природа, чье слово еще могущественнее и древнее языка пастернаковских деревьев и гармоничнее божневской «золотой середины».